



Евгений Гагарин  
**Поездка на Святки**  
Повесть

Во время большой перемены во дворе гимназии появился — помню — сторож Матвей и, выйдя на середину, приложил ладони ко рту, силясь перекрычать наш шум, — у нас же шёл снежный бой. Был Матвей маленького роста, тщедушный, со слабым голосом, сердцем необыкновенно добрый и не пользовался у гимназистов никаким уважением; не верилось, что он служил когда-то в солдатах, участвовал в Русско-японской войне, получил Георгия за храбрость и даже был ранен и сидел в плену. И теперь никто не обращал внимания на его усилия: по-прежнему свистели комья снега и кто-то даже запустил в самого Матвея; ком с треском лопнул, ударившись об его голову. По двору понёсся хохот. Матвей подумал и затопал ногами. На минуту всё стихло, и, воспользовавшись тишиной, он закричал поспешно:

— Воронихина с третьяго классу — к господину инспектору!.. Без промедления!..

У меня дрогнуло сердце. Вызов к инспектору обыкновенно не означал ничего

доброе. Но что грозило мне?.. На моей душе было много грехов: тайное чтение посторонних книг во время уроков, участие в драке с реалистами, курение за шкафом в раздевалке, кнопки на стуле учителя немецкого языка Карла Петровича... «Что дошло до его сведения? И как раз перед рождественскими каникулами!» — размышлял я с тоской, поправляя на ходу мокрые, торчащие волосы и стряхивая снег с куртки и штанов... «Доносчик, без сомнения, это Козёл, — подумал я со злобой о добрейшем нашем старом классном надзирателе Петре Ивановиче, — хочет лишить меня каникул...»

Матвей шёл впереди, бормотал что-то себе под нос и от времени до времени оглядывался на меня — злорадно, как мне казалось. Перед столь знакомой мне обитой кожей массивной дверью в инспекторскую Матвей остановился и сказал шёпотом:

— Погоди маленько, сейчас спрошу.

Он робко приотворил дверь и, весь согнувшись, протискался сквозь щель.

Инспектором нашей гимназии был молодой историк Николай Петрович, кумир всех городских дам и гимназисток из женской

гимназии напротив, что было особенно возмутительно. «Просто цапля со слепыми глазами», — думал я о нём, не без трепета стоя у двери. Мои мокрые, никогда не ложившиеся волосы сейчас торчали, несомненно, ещё ужаснее, плававшее лицо, вероятно, лоснилось от пота... А брюки внизу были все мокры от снега, носки ботинок побелели... «Пропал, — подумал я горько, — совсем пропал...»

Дверь между тем отворилась, Матвей появился на пороге и, осмотрев меня неодобрительно, с укоризненным сожалением молча пропустил внутрь. В кабинете инспектора, обставленном тёмной кожаной мебелью и ещё какими-то предметами — у меня никогда не хватало ни времени, ни духу осмотреться, ибо бывал я зван сюда только по плохим делам, — пахло, как всегда, лёгкой смесью табаку и духов. Это ещё больше восстановило меня. «Как баба!» — подумал я. Отец говорил, что уважающие себя мужчины не должны душиться. Ни один англичанин никогда не душится, прибавлял он, как будто против этого и возразить было нечего. Но, очевидно, он был прав, потому что я никогда не находил, что бы ему возразить.

— Воронихин! В каком ты виде! — закричал инспектор, увидя меня.

— Упал в снег, господин инспектор! — пробормотал я, стараясь встать за этажерку с книгами так, чтобы хоть не было видно моих ног, и думая: «Пронеси, Господи! Авось ничего страшного».

— Упал в снег! По-моему, ты в кипятилок упал — как разваренный рак, красный. У тебя не голова, а помело! Хорош!

Он отвернулся вдруг от меня, подошёл к низкому окну, похожему на нишу, и остановился.

За окном падал редкий снег, а в этой белой сетке бились, коротко вспыхивая, солнечные лучи, и мне вдруг невероятно ясно вспомнился наш дом в деревне, наш сад в снегу и как иногда, припав лицом к стеклу, я долго в одиночестве стоял в зале, смотря на медленно падающие хлопья, на синиц, прыгавших под чёрными кустами... Совсем недавно я получил из дому письмо и считал теперь дни до рождественских каникул. Оставалось всего десять дней — и неужели теперь всё пропало?... Инспектор стоял и молчал. Может быть, всё-таки ничего страшного или же

очень страшное, раз он так долго молчал?.. «Может быть, исключат из гимназии? — произошло вдруг в моём мозгу, и радостная жуть охватила меня. — Если исключат, то можно будет совсем уехать домой, в деревню; однако что сказал бы тогда отец!..» Я так поник в свои думы, что совсем забыл, где стоял, и чуть не потерял равновесия; инспектор оглянулся, лицо и глаза его выражали изумление, будто он очнулся от сна.

— А, ты ещё здесь... — проговорил он медленно. — По просьбе твоих родителей отпускаю тебя на неделю раньше на вакансии. Завтра получишь дневник, за поведение — три. Что рот раскрыл?! Кругом, марш!.. Перед отъездом явишься ко мне!..

Всё это случилось так быстро, было вообще так невероятно, что я сидел как блаженный до конца уроков. Оставались ещё урок немецкого языка и рисования, но из того, что объяснял Карл Петрович, я ни слова не понял, старался только не сводить глаз с его лица — он требовал этого. Лучшими учениками были у него те, кто весь урок, не отрываясь, смотрели ему в рот, и едва кто-нибудь отводил глаза, он свирепел и кричал: «Смотрите на меня!»

Был он потехой и мучеником всей гимназии, этот рыжий, длинный и, в сущности, добрый и несчастный еврей, от которого сбежала жена, оставив ему ребёнка; утверждали, что он сам сажал его на горшок. Чувствовал он себя, вероятно, всегда как травимый зверь. В особенности не выносил его наш француз М. де Комб, ярый патриот Франции, эстет и сумасшедший. Проходя мимо Рабиновича, он корчился от ярости и шипел: «Жид!.. Бош!..» — что доставляло нам великое удовольствие; вообще по мере сил мы делали жизнь несносной этому бедному еврею. Он всегда подозревал очередную гадость, и это «Смотрите на меня» было лишь самозащитой. В тот день я весь урок не сводил с него глаз: нельзя было рисковать попасть на замечание, а кроме того, мне было почему-то жалко его, — жалко, что он еврей, одинок и сам сажает сына на горшок, а больше всего, что ему не к кому ехать и на Рождество он останется, как и всегда, в городе. Это казалось мне невероятным, ужасным.

В пансионе вечером я нашёл новое письмо из дому. Писали, что через неделю вышлют за мной лошадей, выедет Егор — наш кучер.

До ближайшей станции железной дороги было от нас шесть суток езды; там он меня должен был встретить и снять с поезда.

Владела пансионом, где я жил вместе с двумя другими гимназистами, немка Амалия, старая дева. Это была типичная хозяйка немецкого пансиона, рабыня своих вещей, существо невыносимое. Мы не смели у неё долго сидеть в креслах, ибо протирались плюш; мы должны были снимать у порога обувь, чтобы щадить пол; мы не имели права вешать в комнатах картины или фотографии, ибо это портило обои. Что мы могли — трудно сказать. Два других гимназиста были постарше меня, и она ежедневно писала им записки, непременно начинавшиеся словами: «Bitte nicht...»<sup>1</sup> Боже, какое это было пошлое, самодовольное, непоколебимо уверенное в своей правоте существо!.. Больше всего на свете она любила деньги, кофе и уборку комнат. Сквозь стену мы слышали, как каждый вечер она распекала свою прислугу за расходы, громко вздыхая: «Ach, so viel Geld! Ach, das schöne Geld!»<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Пожалуйста (нем.).

<sup>2</sup> Ах, сколько денег! Ах, милые денежки! (нем.)



Кормила нас, однако, отвратительно: изо дня в день битками из дешёвого фарша, наполовину замешанного хлебом и картофелем. Кофепитие было для неё священнодействием; отхлебнув глоток, она издавала от блаженства протяжный звук вроде «м-м-м...», глубоко всасывая воздух. Россию она презирала больше всего за то, что здесь не принято было приносить с собой в кофейные для заварки собственный кофе (*Kaffe brühen lassen*), и потому он стоил здесь «*So viel das schöne Geld*»<sup>3</sup>.

Раж её во время уборки комнат был беспределен. Она была готова умертвить нас за малейшее пятно, за сдвинутый стул, и никакими мольбами — даже во время болезни — мы не могли получить позволение дольше остаться в постели. Как я был рад хоть на две недели сбежать от этой прусской добродетели, от этих рачьих зелёных глаз, от этих седых буклей, от мясистого тела!.. Весь вечер я укладывал свой чемодан, замыкал его на ключ и вновь открывал, пересматривая вещи — не забыть бы чего-нибудь. Амалия

---

<sup>3</sup> Так много милых денежек (*нем.*).

вдруг необыкновенно ко мне подобрела — входила поминутно в комнату, гладила меня по голове, к моей великой досаде, и не сделала замечания, когда я взял к вечернему чаю два куска сахара вместо одного. Три недели комната будет пустой, меньше уйдёт света, не будет портиться мебель, а плата всё та же, за полный пансион — как Амалии не радоваться!.. Она уже дала мне письмо к моим «*liebe Eltern*»<sup>4</sup>, где нижайше поздравляла их с «великий праздник Рождество и щастливый Новый год» и униженно просила прислать ей из деревни «провианту, чтобы лучше питают ваш сын». Из «провианту», что присылали ей из дому, нам мало что перепало, а Амалия была убеждена, что она нам как «заботливый мать».

Ночью я долго ворочался без сна, распределяя деньги на подарки. В месяц мне полагалось 10 рублей карманных денег. Сюда входили трамвай, почтовые марки, кино, церковь и всё другое. Из этих же денег я должен был выкроить и на подарки. Всем у меня было уже припасено, не хватало на коньки

---

<sup>4</sup> Милым старикам (нем.).

приятелю, Ване Бандуре; писал он мне из деревни, что у всех есть коньки, а у него одного нет, и, видно, хотелось ему их иметь страшно. У матери Бандуры — отец его давно умер — была самая бедная изба в деревне. И, стыдясь, я вспоминал, что мог бы отлично сберечь на коньки, если бы реже покупал шоколад у татарина. Татарин Ахмет держал лавку как раз на пути в гимназию. «Золотой ярлык» стоил у него 10 копеек — невозможно было устоять! Так я и проел деньги, оставив без коньков друга!.. Были у меня для него лишь всевозможные крючки для удочки, — летом мы на целые ночи уходили вместе удить.

А утром выпал ясный, звенящий от мороза день. Городской сад, мимо которого я ходил в гимназию, стоял весь в пепельно-жемчужном дыму, стволы берёз были точно из розового мрамора, и опушённые инеем деревья казались охваченными белым пламенем — были как пылающие белые костры. И воздух так живительно-колюче, обжигая, входил в грудь; остро пощипывало щёки и уши, но я ни за что не хотел потерять их руками — это было бы так не по-мужски!

Я быстро бежал по мостовой, и всё было на мне как-то особенно ладно сегодня: и моя новая гимназическая шинель с барашковым воротником, и лёгкие шевровые ботинки — даже в тридцатиградусный мороз нам запрещали надевать калоши. Среди пустых улиц особенно звонко стучали шаги по обледенелому тротуару, и я чувствовал необыкновенный подъём сил, в особенности когда обгонял гимназисток, парами шедших в гимназию. Мне казалось, что я слышу, как они шепчутся за спиной обо мне, и сердцу моему становилось жарко — столь стройным и молодцеватым я себе представлялся. И я уже думал о том, какое произведу впечатление дома, как будут оглядываться, когда, в шинели с блестящими пуговицами, я пройду сквозь ряды в церкви...

Поезд уходил вечером. Вокзал лежал на другом берегу реки; едва стало смеркаться, как я пошёл брать извозчика. Они стояли на площади у собора. Одного из них я давно облюбовал. Его звали Ефимом. Был он чёрен, как цыган, с красивой курчавой бородой и необыкновенно диким голосом. Он был часто пьян и гнал тогда лошадь во всю мочь,

привстав на сиденье, круто натянув вожжи. Снег брызгал из-под полозьев со свистом, как вода. «Только бы он сегодня был там!» — думал я. Мне повезло: я нанял Ефима, и он был уже навеселе. И когда я вскочил в маленькие сани на железных узких полозьях и уселся в задок, покрыв ноги полостью, а Ефим, гикнув, понёс меня по улицам города, где уже горели огни, мне показалось, что жизнь прекрасна, что все смотрят на меня, — я чувствовал себя героем.

